

Дарья
Симонова

ДНИ, КОГДА
ВСЕ БЫЛО...



Мужские истории

Дарья Всеволодовна Симонова

Дни, когда все было...

**Серия «Женские истории
(ООО Центрполиграф)»**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51599440

*Дни, когда все было...:
ISBN 978-5-227-09100-0*

Аннотация

С юности Анна мечтала попасть в столицы: именно в Питере или Москве в атмосфере художественной свободы она намеревалась развить творческие способности и найти свое место в литературе... Спустя несколько лет Анна освоилась в писательской среде обеих столиц, стала публиковаться, отстаивая право на собственное художественное видение, не пытаясь завоевать расположение тех, кто полагает себя вершителями современного литературного процесса. Одновременно ей приходится решать и личную, чисто женскую проблему выбора между двумя непохожими, но одинаково не подходящими ей мужчинами. С одной стороны – буйный алкоголик, поддерживающий ее авторство, с другой – респектабельный мужчина, ни в грош не ставящий ее творчество...

Содержание

Часть первая	5
1. ...Совсем другой судьбы	5
2. Кодекс Харона	16
3. Отставная прокурорша	27
4. Дочь Сатурна	47
5. Синдром сопровождающего	61
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Дарья Всеволодовна Симонова

Дни, когда все было...

© Симонова Д.В., 2020

© «Центрполиграф», 2020

© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2020

Часть первая

Пинг-понг жив

Памяти С.К., друга, негодяя и волшебника

1. ...Совсем другой судьбы

Мы его слушались, хоть он и улыбался предательски, и не появлялся, когда его ждали, и обманывал до обидного легко, а если гостил, то выворачивал дом наизнанку и ломал любимую дедушкину трубку, единственную память... Не любил фетиши, плевать хотел на них, обсмеивал и сам после себя почти ничего не оставил, разве что шарфик полосатый, поеденный молью. Но это из того, что осталось мне, – а я, может, чего не знаю, не факт, что кому-то он и миллионы не припас в тайничке за домом, почему нет, с Марсика все станется. У него имя уменьшительное получалось кошачьим, потому что мама назвала его невообразимо – Марс. Она сочла, что раз у ее знакомой модистки дочка Венера, то какие тогда возражения. Марс – бог войны, ему приносят жертвы, чтобы победить? Тогда имя в руку.

Венера, кстати, здравствует по сей день, но кто бы мог предположить, что она – ружье, стреляющее в последнем ак-

те. Не ружье, конечно, а дамский короткоствольный пистолетик, забыла, как называется, не забыла – никогда не знала, не люблю оружие.

Марсик любил гнеститься в центре города, среди архитектурных излишеств, где куда ни плюнь – попадешь в гида с японцами или в маршала на «Чайке», если лет сорок назад.

...Больше всех машин на свете я люблю нашу «Чайку». «Феррари» против «Чайки» – купчишка в фальшивой бирюзе. Марсик, впрочем, не чересчур играл в сноба и не гнушался выбираться к друзьям на выселки. Но уж на праздники пропадал в лучших домах, никому из нас неведомых, но милых. Мама родная, как я ему завидовала! Особенно на Новый год. Все вранье? Нет, во мне дело, я смакую блестящую брехню про посольских отпрысков, лобстере в аквариуме и крошечной морской живности, запечатанной в перстень. Красиво и жестоко – маленький осьминожек замурован на ПМЖ в безделушке. Марсик утверждал, что владелица медленно ходит с ума от жалости, ей подарил эту похабень один грек. Онассис, наверное... Надо ли писать Онассиса с двумя «с»? По-моему, это излишество.

В империи были две-три стоящие вещи. «Чайка» определено в их числе. Стоило ли ради них столько людей загубить... Перебились бы без сливочных шоколадок. Только не надо про Микеланджело, заколовшего безымянного служку ради достоверности шедевра! Я исповедую мещанский гуманизм, я за теплую пестроту impression, за то, чтобы все были

живы и никаких злодеяний, в том числе в пылу творения. Ко всем лешим катитесь, красоты диктатуры на крови и обогрелая живопись туда же. И если Буонаротти бесчинствовал в Сикстинской капелле, то вот вам истоки католической манеры каллиграфично выписать Христовы раны на своих статуях, все эти струйки и кровавые слезки, вылупившиеся у восковой Марии в заштатном испанском городке, и прочие мурашки для туристов. Отказать!

Я ни разу не была у Марсика на дне рождения, он его справлял последнее время с вычурной простотой – по свидетельству очевидцев. Три баллона пива, таранька от двоюродных родственников, ранние сумерки, цитаты из Лао-цзы и иже с ним, потом все ложатся на пол и смотрят телевизор, фильмы категории «В», то есть не номинированные на «Оскар» ни с какого боку. Вот это восточное в нас – мы тяготеем к церемониям, даже когда презираем их. Вручение голого лысого блестящего андроида с мечом и все сопутствующее...

но это еще ладно – вручение категорически не про нашу честь, значит, двойной тотем, церемония любви к церемонии, метацеремония, и куда бы делась эзотерическая харизма, если б ее можно было «потрогать». Нам бы еще погулять на церемонии лишения «Оскара», если таковую изобретут, позубоскалить... Хотя будем великодушны к одаряемым голливудским неврастеникам в швейцарских часах, не станем отбирать у детей игрушки. Мы даже отчасти с ними знакомы, то есть между нами не больше шести рукопожатий,

как обнадеживает статистика, но жизни грешной дай бог на одно хватит в том направлении.

Родно с таранькой я видела однажды – чудные хлебосольные люди, трогательные, как зимние воробушки. У меня тоже есть такая: летом они наезжали к бабушке и наполняли дом свежайшими развлечениями типа походов на пруд, ловли раков и размещения вяленых рыбных гирлянд на чердаке... Лучистое теплое семейство, мама и дети кудрявые, папа лысоватый, компанейский – даже в экстерьере гармония! По незрелости я не раз хотела к ним дезертировать, когда у ближних завязывались неурядицы. Нам-то с братаном недосуг было добраться до мирных летних радостей, мы были так заняты вредительством: натягивали нитки через переулок, спускали кошек под гору в закрытой таратайке, мастерили могильные холмики из несчастных алкашей, рухнувших в тополиную тень... Сходство воспоминаний сближает несказанно, хотя отнюдь не свидетельствует о родственности вспоминаемого: богач и бедняк, толстый и тонкий, негр и чукча могут на удивление созвучно ностальгировать, суть не в континентах, кастах, сословиях, расах и даже не в половом признаке – у нас у всех абсолютно одинаковый орган радости внутри. Это мне сказал Марсик, когда мы познакомились. Он уже тогда начал свой поиск закономерностей, читая Лао-цзы и даже Дарвина.

Ни один из моих друзей ни до, ни после не читал Дарвина. Думаю, в честь Марсика, то есть в честь памяти о нем, завидя

читающего Дарвина, я теперь пойду за ним на край света, – и пусть тогда будет лето, не слишком жарко, но солнечно и одиноко, воскресные дымящиеся улицы, пустые, напряженные городские мышцы, все в саду, и должно произойти то, что никогда не происходит, и несолоно хлебавши возвращаешься домой без приключения, зажигаешь свет, и хмель еще не вышел, и так все никчемно, ты как перст, а все твои в саду... Вот чтобы миновала сия чаша, пусть встретится мне читающий Дарвина в фиолетовых очках, рыжей рубашке в мелкую черную полоску, с ключами на цепочке, который открывает лучшие тайнства мира, у которого, как у Марсика, между иронией и издевкой пролегает уютный язык полуслов-полужестов, которым он изъясняется с нами. То есть Марсик – с нами, а тот, кто встретится, – с тайно любимыми.

Марсик нас обязательно любил, мы – первые сливки, снятые им с шестнадцатилетия, до нас у него только дворовые компании и связь с маминой подругой. Да мало ли что было еще, но тому верить не стоит, то – бижутерия и алмазная пыль, которая требуется начитанным отравителям. Подумать только, какое дорогое и вычурное злодеяние – подсыпать драгоценную россыпь в чай, и жертва три дня в летальных муках! Не скажу, что мне не важно, что с Марсиком было когда-то, я теперь каждую крупиночку о нем собираю и кладу в несессер, который ukrала у ушедшей квартирной хозяйки, купившей его в Таиланде и собиравшейся сбавить одной гимназистке на бедность, но я сочла себя априори

ри беднее той гимназистки. Ведь у богатых кто друзья и дети друзей? Тоже богатые, конечно, а если есть бедные, то им дарят совсем другие вещи, например, модные крышки для унитаза, или сам унитаз, или биотуалет, на худой конец, – одним словом, сугубо функциональное, симпатичный бисерный несессерчик, конечно, так никогда никому и подарен не был бы, если б не моя инициатива! И вот я, предварительно набрав кислорода в рот, просвистела «да» на вопрос, нравится ли мне эта безвкусица. Она говорит: забирай. А потом: подожди, мол, еще спрошу кое у кого. И зажучила. А потом однажды вздыхает якобы в неловкости вся: съехать, мол, тебе придется от меня. А ведь обещала, что я буду жить у нее долго и счастливо! И я так обиделась, и были ноябрьские дожди, мое шмотье в мокрых картоночках из-под бананов...

В общем, я впала в малодушие, ничтожество, меркантильную ревность и вещицу хапнула. Теперь храню в ней самое дорогое: бабушкин крестик, адрес одного таксиста в Нью-Йорке – потому что мне лень переписывать в записную книжку эту несусветную «черную мессу», где дом наперед улицы, и я не умею каллиграфично вывести рогатку Y, – несколько незначительных бумажных писем от значительных людей, шарик тигрового глаза и схему, которую давным-давно рисовал Марсик, чтобы я не заплуталась в столице и нашла его первую резиденцию. Ну, это было, скажу я вам! Марсик всегда с нежностью отзывался о тех изумрудных стенах в Микки-Маусах, низеньких тумбах, которые об-

зывались «стульчаками» и «стольчаками», статуэтке явно на тему Самсона, раздирающего пасть то ли свинье, то ли бульдожке (эта часть композиции скульптору удалась с чрезмерным гротеском), с темно-красными следами, между прочим, не исключено, что крови! Но подозрения-то бутафорские, для воспитания детективных чувств, и жить бы тут да жить, хозяйева еще в доисторические времена имперской дружбы с угнетенными уехали в Алжир, потом пошло-поехало до Швейцарии. Надо заметить, что альпийский локоток от африканского севера близехонько, а ты попробуй укуси!

Шустрые благодетели... но и они не без изъяна, пришлось Марсику со всей оравой нахлебников и кредиторов освобождать ширпотребную эклектику, когда путешественники надумали от него избавиться. А что, если останься все как было, Марсик до сих пор жил бы. Дома и судьбы проходят сквозь нас бок о бок, и неизвестно, что первичнее. Сдающие нам счастливые апартаменты – не они ли ангелы по совместительству, счастливое время – не есть ли счастливое место прежде всего, которое до нас уже «нагрели» светлой полосой иные обитатели.

...Но возвращаясь все же к нежаркому дню: увижу похожего на Марсика – и, конечно, не пойду за ним, просто буду смотреть долго-долго, пока он по самые пятки не нырнет в свет уличный с эскалатора, и желать ему всяческих благ и судьбы не дай бог такой, как у Марсика, совсем другой судьбы.

А в окрестностях двадцатилетия мы валяли дурака и не сомневались в будущем. Отчасти. Я все-таки беспокоилась, что не вынесу никого из огня, не приму в парке стремительные роды у прогуливающейся беженки из стран третьего мира, не выхвачу чужого ребенка из-под колес и не закрою собой от пули... хотя последнее, пожалуй, чересчур, но подвиг мною тщательно планировался. Если не он – тошно и серо придется на земле моей брэнной сущности. Да окажись я самой Скловской вкупе с Кюри, каких высот интеллекта ни достигни, все равно жизнь человеку спасти значительнее, в едином моменте, что поперек горла главному и неколебимому инстинкту любой живности, – величие и бесконечность. Канонические мечты труса! Спасители взаправдашние едва ли мечтают о героической оказии, просто в нужный момент они сработали молодцом, и в какой пропорции и откуда взялись для того тренинг, допинг, кураж – неизвестно. Случиться молодцом – дорогого стоит! Подозревая, что у меня кишка тонка, я наострилась на менее накладные благодеяния, но даже немощные и близорукие, бредущие напрямик сквозь скоростное шоссе, попадались мне крайне редко, и тогда я набрасывалась с заботой на загрустивших, вполне себе о двух невредимых руках и ногах и мало-мальски здоровой голове. Мыла посуду, бегала за портвейном, гладила по голове... Но, бог мой, великого так и не совершила! Потом запихивала мечту свою, как бабулька – очки, через секунду не помня куда, и вдруг вспоминала, теряясь от бессмысленно-

сти своей, когда рядом страдают – где-нибудь за гнилым деревянным перекрытием в пьяной драке гибнут лучшие. Лучшие – они всегда так. Шлиман, откопавший Трою, умер в клошарной ночлежке, – чтобы не приводить прочие хрестоматийные случаи. А то люблю помусолить желтые журналы про неурядицы идолов, больших и малых, жажду увидеть приписку «По понятным причинам фамилии героев изменены».

Но Марсик меня однажды спросил:

– А что делать будешь, когда победишь?

До сих пор ошеломлена. И вот бы знать! Он смотрит на меня и улыбается с завистью: «У тебя зрочки как „двушки“. Даже будто пожелтели». И что, думаю, хорошего?.. Теперь нет двушек. Музыка, запахи и деньги – вот устойчивые символы, оживляющие прошлое. Взять «Коней привередливых» и «Скалолазку», запах шашлыков из соседнего ресторана «Малахит» и мороженое за восемнадцать копеек – и можно по-прустовски воспроизвести детство. Что касемо двушек, то в двенадцать лет я впервые попала в столицы – и вот тебе: на будках написано вместо «телефон» – «таксофон». Такса... не будь собаки, получилось бы приятное женское имя.

Так вот, Марсик вечно завидовал моим зрочкам и вообще тому, что меня прет бесплатно, безо всяких снадобий. И я ему возражаю сразу, дескать, зачем заранее делить шкуру, тем более удачу сглазить – плевое дело. А он говорит:

«Неправда. Нужна стратегия. Удача приходит туда, где сервируют стол лишним прибором». Мне понравилось, как он сказал. Но как ответить, что я буду делать, когда спасу кого-нибудь рядового Райана? Да ничего! Жить дальше и покрываться изнутри известковым налетом тщеславия. Внешне я так особо чваниться не буду, но про себя оторвусь.

– Вот именно, – замаячил перстом в небе Марсик. – Замаячит совершенное безделье, жизнь завершит петлю... Благодарю свою вершину за то, что дает тебе отсрочку.

Я только потом поняла, про что это он, хотя и так все как божий день. Продолжала творить благоглупости. Человека полюбила. Даже зуб пришлось вырывать, – прямой связи нет, впрочем... Пошла к хирургам. А народу в поликлинике – тьма, содом и гоморра. И вот крадется дама с мальчиком лет десяти. Почему-то ко мне. Объясняет, что у ребенка беда и как бы с ним в этой очереди не стоять. А меня пронзает: так это Его жена! И сын у Него того же возраста, и мальчик дамочкин очень на Него похож, и дамочка сама вполне была бы достойна, симпатичная такая, по глазам видно – не паскуда, добрая женщина. Излишне живописать, с каким воодушевлением я пропустила их вперед. Нас возвышающий самообман! Я все думала, посмешить ли того гаврика про встречу мою якобы с его семейством, но так и не стала. Он не впечатлительный.

Марсик его знал. Он меня с ним и познакомил, отнюдь не предполагая, без всякой задней мысли. Когда узнал, что

из того вышло, был сумрачно удивлен. Сказал, что я не там ищу, и вообще скис по-отечески и одновременно презрительно, а потом напился и говорит:

– Я думал, у тебя глупость космическая, как у юродивых, а ты, оказывается, обыкновенная дура.

Я ужас до чего обиделась, все смириться не могла, что так меня высоко ценил Марсик, а я и не знала, – и вот по неведению все величие свое и сплющила. Но, с другой стороны, неужто жизнь личную псу под хвост спускать, дабы строго соблюсти юродивость! И потом я не думаю, что она мне так уж пригодилась бы. Сам-то Марсище себе выбирал девушек без перегибов.

Наверное, все началось с них. Интересно, кто сильнее верит в жизнь вечную – мужчина или женщина? На грани двадцатилетия Марсик объявил мне, что жизнь одна, и дело одно, и женщина одна, и она должна родить ему детей – таков закон единственный, и, мол, если я хочу возразить, тогда пусть приведу варианты. Без вариантов!

...Мне вдруг пришло в голову: хороший псевдоним – Гомо Сапиенс. Для противной блогерши. Противной, но умной. Марсик как раз с такими заводил «варианты».

2. Кодекс Харона

Вообще это был грустный разговор. На крыше. Мы должны были поделить небо или оставить его единым. Под нежным дождем, в четыре, в пять утра, на доме, где с такого-то по такой-то обреталась детская писательница сказок о кучерявых террористах Ульяновых. А пусть бы и Антонио Гауди, что, несомненно, дало бы дому сто пудов вперед, но не склалось у гения, у него и так жизнь буграми, куда б его еще к нам занесло, каталонцы не любят перемен... Я думала, что та шумная незнакомая шобла вернется быстро, но они, наверное, купили и пили втихаря на улице, или заплутали, или зашли к кому. Марсика это, на удивление, не обидело. Когда привыкнешь, и впрямь не обижает. Он титанически выдыхал дым вверх, словно от него зависело, сколько ажурных облачков проплывет сегодня над городом. У него в запасе был очень приятный напиток промежуточной крепости. Очень приятный, но мало. И я сердилась немного на улизнувших за алкоголем, а тут еще Марс завел о единобрачии, или однолюбстве, и наливал по наперстку, себе побольше. Ну и шут бы с ним, только такой вкуснотой можно было и погуще доньшко мазать. И, помилуйте, к чему утыкаться в непреложные законы? Что же это за жизнь с одной любовью! Мне было не по себе это слушать, особенно от Марсика, который обычно сам блеснит и переливается от излишеств, а в сере-

дине лета решил побаловаться аскезой и выводит философские паузы.

Я ему ответила, мол, не берусь тебе ни перечить, ни поддакивать, но, во-первых, это у тебя новая любовь, что ли, случилась? Он не ответил. А во-вторых, я, например, про себя определенно знаю, что у меня не случится старческих прогулок в парке рука об руку до гробовой доски, что перед лицом вечности я не буду, теребя флердоранж, бормотать про горе и радость, «пока смерть не разлучит нас», и что никакой моей половинки в природе не существует, а только четвертые, пятые, шестые и т. д. доли, все из которых я хочу отвдать, потому что на то я и не Изольда, и не Сольвейг, чтобы и рыбку съесть, и не подавиться... может, поедем продолжать?

Хотя продолжать нечего, нет ни хмеля, ни дня, ни ночи, неразмеченное время... едем из оцепенения?! Ну, хотя бы дойдем пешком до аттракционов как раз к открытию, рожи покорчим в зеркальной комнате, уснем на чертовом колесе и, вздрогнув, не упадем... а то грустно с тобой здесь, намекаю я Марсику. Всего-всего должно быть побольше, а не по одному, много-много шкур на себя примерить, притереться к ним и выскользнуть, и дальше, – я и лошадь, я и бык, и Ло, и Гумберт-Гумберт, и просто Гумберт, на худой конец. Да не ты ли меня тому учил, зануда! Марс в позе химеры думал свою думу дальше, решив dokonать меня ею окончательно. Но сна, как на грех, ни в одном глазу, хотелось движения, что нам, в конце концов, с утра к станку, что ли?! Нам ни-

когда никуда с утра! Похоже, потому Марсик и затосковал на той крыше в незадавшуюся тихую ночь. У него свербило иногда: хотелось, чтобы хоть и не солдат, а спишь – служба идет, и в списки занесен, чтоб при втором потопе тебя не забыли погрузить в электроковчег. Одним словом, Марс мечтал быть сказочным клерком в золотых часах, которому не на работу – видимо, потому, что волшебником работает, не отходя от кровати. Острая Марсова прихоть обычно начиналась после недельной пирушки, длилась час или от силы сутки и, возможно, сопровождалась утопической пасторалью о единственной на все времена подруге жизни – однако пасторалью молчаливой. Но теперь Марсик проповедовал вслух, с неспешностью индейца, который за вечерней трубкой обдумывает пытку для свежепойманных бледнолицых.

А погода устроилась целительная, как апельсин с похмелья. Помню, что колокола начали звонить рано. Удивительно: стоит случиться судьбоносному моменту, так после узнаю, что тот день пришелся на христианский праздник. Я, кстати, к вере с большим почтением, когда мимо церкви иду, обязательно побирушек порадую и странников в лохмотьях – мне их особенно в жару жалко: сидят у ограды в тряпье душном, преют, о прохладительном и речи нет. Что за жизнь!

А у Марсика тогда любовь не появилась, а заканчивалась. И какая любовь – все прежняя мамина подруга! Приехала к нему на поезде, привезла гостинцев от родни, осталась на пару дней. Она и раньше так делала, и тогда Марсик предо-

ставлял своим пассиям внеочередной отпуск, иногда даже оплачиваемый, и все это он делал, если верить его клятвам на байбле, ворованной из отеля фиолетововолосым европейским приятелем, чтобы разобраться в покое со старой кралей. То есть якобы ни-ни, не подумайте чего кровосмесительного, он, даже разговаривая с ней при свидетелях, садился нарочито поодаль и называл ее с фамильярным почитанием по имени-отчеству. Звали ее Эля. Она казалась женщиной ровной – до третьей рюмки, потом резко переходила в цыганское веселье, потом столь же внезапно замирала, и ее обнаруживали уже мертвецки спящей. У нее были тонкие короткие волосы, но когда она красила глаза, то получалась Одри Хепберн, как если бы та заслуженно трудилась на камвольном комбинате, много пила и вообще если б она поистерлась. Но, согласитесь, породу-то не пропьешь!

Эля рано стала бабушкой. Все, больше ничего про нее не знаю, но ясно одно: у нее сто лет не было мужчины, и, как честный человек, Марсик в общем-то был ей обязан, и его такие обязательства даже забавляли. В общем, грех он большой сделал, слишком много с ней смеялся, а это уже был не ее коленкор, она, конечно, пьянствовала с нами, вжавшись «под камелек», но наутро ей нужна была достойная старость в виде запеченной свиной ноги и разучивания азбуки с внуками. Но те ее даже не видели никогда, они родились уже в Америке, и бабуля нежилась в дилемме ехать или остаться. Может, Марсик врал, но она звала его с собой. Якобы.

Вот был бы цирк: бабка с молодым проходимцем в нагрузку! Вероятность номер два: а что, если бы он поехал, так, может, все бы и обошлось?! Но, разумеется, эмиграция – лучшее яблоко раздора. Марсик на коне: его зовут с собой, но он не в силах оставить родину, – где еще найти предлог для расставания достойнее?! Подруга привязывается сильнее: за океаном ей явно не маячат бодрые друзья с огоньком – как здесь, как мы! Марсику там вообще ничего не маячит, дочь Эли вышла замуж лет в семнадцать за техасского животновода. На каком перекрестке его склеила?! Хотя она с молодых ногтей танцевала в мюзик-холле... Эля оглянуться не успела, как стала заочной грейт мазер. Но тут еще одна тонкость: дочь лет пять ей не звонила. Одним словом, чем дотошнее углубляешься в чужие подробности, тем ближе конец света, что, впрочем, не опасная иллюзия. И Марсик вместо великого плача по любимой старушке устраивает ей великий аттракцион, чтобы она запомнила его на всю Америку, ведь ей теперь до конца дней своих с внуками вошкаться, надо же развлечься напоследок!

Надменная и простодушная одновременно, она, если приезжала, только и ворчала, дескать, вот выпить, да еще напиток хороший, вкусный, веселый – милое дело, а вот наркотики – не по-нашему, не по-русски. Даже марихуана не идет нам, нужно нутро иное иметь, нам алкоголь больше по профилю, не говоря уже, что наркота – дрянь редкостная и жизнь коту под хвост из-за нее. Марс ее подначивал, дескать,

тебе-то, старая, можно, ты бы не подседа, зато краски новые увидела бы! Эля работала бутафором в театре, энтузиастка этого дела была, все кукол на досуге разрисовывала... И Элю однажды тоска очередная забрала, она давай к Марсу в «командировку» и «гостинцев передать», а зазнобыш ее тут и подогрел. Он сказал: только я понимаю, что тебе надо, без меня ты такого не найдешь, такого самого оно «смешать, но не взбалтывать»! «Без меня не найдешь... только я... только тебе...» Не надо забывать – барышне пятый десяток, она восприимчива к нежному подходу до судорог миокарда, она поверила. Марсик ее угостил, после чего Эля не попала в Америку, не увидела внуков, не простила свою блудную кровиночку. Эля умерла. Приступ.

Потом я не видела Марсика два года. Никто его не видел. Говорят, на похороны приехала Элина дочка красоты неопи-сваемой и завела с Марсом шашни. Это все, что мне известно из недостоверных источников... Грех первый. Мне всегда хотелось порасспросить об этом, но сведения витали противоречивые, а ведь я не исповедник, чтобы Марсик мне сам все начистоту. Я его только спросила, где Элю похоронили, он ответил, что не здесь, больше ничего. Марсик взялся чаще ездить на родину, стал как будто серьезнее и злее, в гости не звал, то есть приглашал заходить как-нибудь, а это, кто ж не знает, равносильно «пошел вон». Без Эли мир нахохлился, волшебная избушка на курьих ножках встала к нам еще не задом, но уже влоборота. Без Марсика мне непривычно,

он нужен был хотя бы для опровержения. Ход событий веками укладывается в одно и то же русло под названием «тезис – антитезис – синтез», его еще никто не отменял. Согласно чему вначале Марсик научил меня пить, курить и, простите, все остальное, потом, как порядочная девушка, я должна была ему заехать в рожу, воспротивившись его картине мира, а в зрелости самое то подружиться на равных, как двум престарелым куртизанкам, наставив ретуширующих «цветучек» на свои и чужие слабости. Не случись с Элей несчастья, мы благополучно бы позубоскалили в стадии антитезиса и взгромоздились бы со временем на третью ступеньку, но теперь никак.

А Марсик предпочел предложить мне готовую версию: «Ты точишь на меня зуб, мол, я убийца, не думаю, что этим ты отличаешься от прочих». Я выудила у него еле слышную, как шумы в сердце, вопросительную интонацию, и мне полегчало, потому что о «прочих» – это была уязвленная клевета. Его никто не перестал любить, просто притушили гимны, затихли, поставили гриф временного отсутствия и ожидания, когда пройдет срок давности. Не двадцать пять лет, конечно, мы в десятки раз легчевеснее закона. Это я продержалась два года, и то потому, что сочла неприличным скорбеть меньше: Эля в один из неожиданных карнавалов одарила меня початыми духами в коробочке «с чужого плеча». На ней лаконично зиял харизматический лейбл, но Эля меня утешила, развенчав мнимый авторитет: «Все „Шанели“ пах-

нут немолодой потной женщиной...» А те, что были внутри, неродные – они пахли учительницей французского. Молодой и, несомненно, не потной. Она добрая память и вифлеемская звездочка среди провинциального фарисейства. Может, только казалось, что случай подбросил мне кусочек моего горбатого счастливого малолетства, может, все дело в одном всего лишь заковыристом парфюмерном ингредиенте вроде иланг-иланг, что язык и склонять не рискнет. Так или иначе, Эля угадала, а это дорогого стоит.

И много вод с тех пор утекло и натекло под крыши и в подпол, двери наши теперь набухли и открываются с усилием и стоном, наши руки пахнут не ладаном, а утекшей водой, прилипшими к ладошке мокрыми In God we trust... Элины духи закончились, я искала их всюду – никто никогда не видел и не знал таких, они существовали в трансцендентально единственном экземпляре. До свидания, Эля.

Но, когда мы сидели на крыше, она была еще жива, Марс просто ее обидел. Я думала – ерунда какая, чужие примирения всегда кажутся неизбежными, а вот свои – отнюдь. Я так и вовсе падка на соседский каравай: зайду к кому на вечерок и жуть до чего хочу остаться. Насовсем. Потом в метро несу глаза свои осторожно, чтобы слезы не расплескать, а дорога дли-и-инная, муторная вечно, город – мутант кунсткамерный с башкой, словно нарост на планете. Мне кажется, Москва шарообразна тоже, и, если глянуть из космоса, заметишь на месте ее круглую бородавку. И едешь, едешь,

а хочется повернуться вспять, и вынырнуть из-под земли в точке входа, и бежать, задыхаясь, обратно по снегам восемь троллейбусных остановок, вернуться – и чтоб тебе обрадовались снова, и сказали, ну об чем спич, живи у нас всегда, мы тебе устроим кроватку в кладовке и к делу приспособим, и тут же мы с радости шампанское выпили бы и музыку бы завели счастливую, скажем, Глорию Гейнор, песню про то, что я, мол, выживу везде, в смысле не я, а она. Я-то не знаю, выживу ли я везде, но песню люблю, и весь народ ее любил, и в восьмидесятом, когда Олимпиада была, бодрую Глорию-негритянку в ослепительных песках по телику в «Утренней почте» крутили, и это был для нас всех первый видеоклип. А мы и не знали... Вот она, мечта моя тогдашняя.

Эля сказала однажды, что это у меня ненасыщенный семейный инстинкт, и после того, как дети родятся, должно пройти. Не факт! Я думаю, это совсем другой инстинкт, хороводно-племенной, не путать со стадным. Сесть у огня, преломить хлеба с мамонтиной ногой и прочий провиант, все пустить по кругу, затянуть песню, закурить трубку, замутить легенду вроде той, что про короля Артура и про рыцарей, попрошу заметить, Круглого стола. А чем мы хуже Артура – нам тоже каждому подавай рыцарей, апостолов, учеников, учителей, предшественников, последователей и стол, бог с ним, можно и квадратный, но сядем-то вокруг – и понеслась! Кстати, Марсик утверждал, что психоанализ, как наполео-

новская армия, изможденный, покинет в конце концов эти края, израненный еще одним инстинктом – национальным. Мы, дескать, боимся потерять на кушетке душу, из которой, как из сельди, вынут хребет до единой косточки и располо- суют на одинаковые дольки, и потому ни один из нас не ска- жет честно, сколько раз в неделю он имеет коитус, потому что это таинство и подлежит умолчанию. Тогда-то я и узнала задним числом, что такое «коитус» и что «кушетка» – меди- цинский термин.

Марсик навис интеллектуальным превосходством – он это любил, особенно с тех пор, как я поступила в университет, а он – нет. Все стимул Михайло Ломоносова изображал – до- гнать и перегнать... Но я думаю, что всякие разные афори- стичные красотости Марсик не сам придумывал, это вете- рок с бережка Эльвиры Федоровны. А что касается «сингла», тут тоже без нее не обошлось. Еще, вероятно, Дарвин – он тоже приложил свой великий мизинец к Марсову вдохнове- нию, даже беглое аллегро по сочинению классика не может пройти бесследно для неокрепшего ума. Просто поразитель- но, что остались еще материалисты, и это при том, что пав- шие так активно меняют козыри в наших играх! Эля приду- мала Марсику сингл, и чего только не случилось вследствие того, когда Элечки и след простыл... И чего только не стра- слось со мной из-за Марсика, а ведь и до него уже далеко, го- раздо дальше, чем до Эли, – так мне кажется. У Харона свой кодекс, чем тяжелее грехи – тем дальше он отвозит от земли,

дабы не искушать более.

3. Отставная прокурорша

Так вот, когда мы сидели на крыше и мне жуть как хотелось продлить карнавал, Марсик не сворачивал с минора, потому что, видите ли, счастливым можно быть только один раз и не кажется ли мне так же? Разумеется, протестую, ваша честь! Я сочла, что мой долг перед человечеством – опровергнуть исчерпаемость главной нормы на душу населения, и набросала вкратце пару живописных примеров движения судьбы по синусоиде. Но Марсик отвечал, что волнообразиие потока – всего лишь n в периоде, то есть одна решающая высота и бесконечный ряд ее бледных подобий, теней. Один раз в год сады цветут! Посему мудрый инстинктивно откладывает вершину поближе к выходу в тираж, – после нее ведь все равно остается покоиться на лаврах и уходить с миром. А он, Марсик, свое острие уже прожил – по глупости и невежению. Я фыркнула, мол, и чего ж теперь, положить тебя в русской рубашке под иконами? Тут он неожиданно вспылил – и все потому, что я в его понимании была не из достойных вникать в тему той ночи. Пришлось, нервно теребя извилины, поупражняться в дедукции на ближних, померить, у кого сколько «вершин».

К великому сожалению, никаких синусоид мной обнаружено не было, мои ближние куролесили в свое удовольствие, и у них как будто одна сплошная Среднерусская возвышен-

ность вместо аверса и траверса, разве что одна барышня полюбила двоюродного брата и терзалась инцестуозными сомнениями, пока не принялась сожительствовать со зрелой вечной студенткой в модных круглых очках с прибалтийским акцентом. И они обе выглядели совершенно счастливыми, и так мило готовились к Новому году, столько гостей назвали, и у них впервые я живьем видела трогательные католические шишечки-веночки и прочие рождественские финтифлюшки – у нас ведь не было таких раньше. Идиллия закончилась весной. Сезонный роман – обычное дело, иные связи, словно флора и фауна, не в силах пережить смену погоды. К старшей подруге приехал сын, а при нем никакой содомии! Понять можно, но та, другая, барышня-подруга, хотя мы не дружили особо никогда... она так растерялась! Говорила, что ей и в маминой утробе так славно не было, как с той упитанной эстонкой с Санта-Клаусом под мышкой. Она затосковала. Я ее понимала наполовину – у эстонки была такая хата! Центровая сталинка с камином и с футбольными просторами гостиной, а в подъезде при входе – мохнатый автомат для чистки ботинок, и в холле украшали елочку, и лежали ковровые дорожки... Что касается самой эстонки, то это совсем не по моей части, я внутренне содрогаюсь при самой мысли... но чем черт не шутит, в конце концов, кто сказал, что удовольствие регламентировано ассоциативным рядом: Николай Крючков, Кларк Гейбл, Махмуд Эсамбаев и далее вплоть до Митхуна Чакраборти... Можно ли подобные

истории причислять к «вершинам»? Если да, то плохи дела у той девчонки – связалась с теткой, малость нюх потеряла. И все-таки чушь собачья с этой выдумкой в духе Гюго! Именно он вспомнился со своим сакраментальным фатумом, который обжалованию не подлежит... и в который по ошибке протекли ма-а-аленькие земные радости.

– А ты еще подумай, подумай, тогда поймешь, что все именно так и есть у людей...

Я подумала, подумала, но только ради того, чтобы Марсика уесть с его упадочными умствованиями, что никогда не приносило мне успеха: ораторство мое хромает, в споре у меня всего лишь скулы сводит от несправедливостей и в досаде хочется съездить противнику по холеной физиономии. Но! Все это не значит, что не надо пытаться все же выйти победителем из риторической стычки. Тем более речь о том, без чего и смысла нет сажать березки, растить сына и писать, кажется, роман, но можно и повесть, и дочь, и сосенку – все равно нет смысла. Но мне, как назло, в голову лезла последняя ночная передача «Легенды мирового кино» про Дитрих: скажи на милость, упрямец, у нее вершина была с Ремарком или с Габеном?

– У нее не было вершины вообще. Она ее вынесла за скобки...

Потом мне припомнилось все вместе: и Эля, и разговор этот пустой на крыше. Пустой, но не бесследный. Никаких параллелей, но у богов есть уши, они иногда нас слышат, осо-

бенно когда мы забираемся поближе к небу. Наша болтовня – она еще аукнется. Берегись! Не говори о смерти со жвачкой во рту.

Чем крепче сопротивляешься – тем глубже сомнения. Марсик заронил свое испорченное зернышко, приходилось ловить себя на том, что вымеряю волнистость судеб направо и налево. Победил Достоевский – не даром даже Мэрилин Монро к нему тяготела. У него «макушка» аккурат к концу – «Братья Карамазовы». У прочих сплошная невнятность. Уточнила у Марсика: вершина – она где: в любви, в картах, в деньгах, в ремесле?

– Не важно, – отвечает, – где угодно может быть, но только одна.

Вот потому Марс – или Эльвира Федоровна, царство ей небесное, – и назвал плод размышлений синглом, что означает «один». Мало того что жизнь одноразовая, так еще и в горку один раз и под горку один раз, вот и вся недолга, и в придачу бесплатное шампанское, если раззадоришься прикупить два холодильника зараз в нашем фирмастом лабазе на первом этаже. Больше ничего бесплатного, разве что кеды в угол поставить: остановить Землю и сойти – этот аттракцион гарантирован доброй феей даром, она еще и холопов своих подошлет, дабы придали нам ускорение пинком под зад... неприятная у Марсика вышла теория, декадентская, горькая. Спрашивается, кому она могла сойти за чистую монету?! Отвечается: мегаполису свойственно лелеять мрачные сказки –

это его помощь естественному отбору. Здесь тесно, а потому должен же кто-нибудь пугаться и отступать, чтобы освободить место настырным.

Впрочем, пугаться не обязательно, можно иронично выслушать и поставить рассказчику двойку за домашнюю заготовку, как и поступил Вацлав, странная птица в крупнозернистых платиновых завитушках, всегда влажно прилипших к розовеющим щекам, как будто только что спасался бегством и озадачен. Он не постеснялся демонически насмеяться над Марсиком, дескать, какие трюизмы обсасывают недоучки на своих наивных кухнях. Дело кончилось дракой и примирением. Марсик лучше дрался, а Вацлав лучше думал. Прекрасный союз! Они это сразу поняли. Вацлав козырял парой-тройкой незаконченных образований – один из выгоднейших плюсов: проверить нельзя, а хвастаться можно. Но одно он все же одолел – это если забегать вперед. И Марс с этим подозрительным поляком выдумали альянс на пустом месте. Хитрый Вацлав сразу смекнул, что Марсу нужна власть, девки, кутежи и в промежутках служба роду человеческому, но только, разумеется, если водка мешает работе, то ну ее, такую работу... Ваца не упускал случая пустить в ход обмылки своих университетов, умыть оппонентов академическим коктейлем и даже козырял отдаленным родством с высокопоставленным духовенством. На мой взгляд, Ваца не мог нравиться; к чему Марс затеял соревнование именно с этим альбиносом?! История не только умалчивает, она еще

и отчаянно сопротивляется расспросам. Но язык у него был подвешен виртуозно.

Марс промолчал, лишь когда Вацлав замахнулся на Серафима Саровского. Есть у воцерковленных свои богоугодные кумиры, но и у них в биографии скользкие места с мирской колокольни. Уж где Ваца откопал компромат – не помню, но жила у Серафима в монастыре тихая монашка. У нее братец захворал нешуточно. И батюшка к питомице с просьбой: не можешь ли ты, невеста Христова, умереть вместо родственничка? Дескать, руки у него золотые, да и мужик-то в хозяйстве нужнее. И ведь послушалась, представилась. Брат, кстати, тоже послушался. То есть оклемался. Я думала: сейчас Марсик покажет этому Саровскому. А тот словно рыба об лед – думает... Дивны дела твои, боже! Только девочку зачем загубили? Почему чудотворцу было не обойтись без жертв?

Словом, Вацлав оказался мне еретически близок. А Марсик – нет, что вышло нелепейшим сюрпризом. Теперь, мне кажется, я в силах истолковать парадокс: богоугодливость ни при чем, Марса завлек эксперимент Саровского – приглашение от имени Господа махнутья one way ticket. Это тебе не пика пикой с передачей, это масштаб. «Исцеляй и властвуй!» – вот что свербило у Марса промеж висков. А глупый поляк ерничал, подавленный Марсовым безмолвием, бормотал про Бога, которого он и в лицо-то не знает, так о каком «спаси и сохрани» может идти речь!

Прости меня, почтенный святой Серафим-батюшка, но

едкий Вацлав посеял во мне стойкое, как ртуть, сомнение. Во мне теперь лет двадцать по санитарным нормам благодати не жить.

А потом я вспомнила, что Эля была религиозна. Не слишком, но и не чужда, так сказать. И я приняла иное толкование того, почему Марсика прибило: он силился придумать, что ответила бы его «старушка» на поклеп в сторону незыблемых. У меня тоже теперь такое бывает, только я в безвыходности про Марсика гадаю – какой бы фортель он написал... например, прождав кого-нибудь час в метро и не дождавшись. Вероятно, Марс ушел бы восвояси. Но, быть может, отнюдь... в том и петрушка, что он умел и обычно, и необычно...

Окончательный прокол случился у Вацлава, когда в споре с Марсом он полоснул нежную тему Эльвиры поперек волокон. Полоснул доверительно, брутально и никчемно, потому как не спрашивали – не сплясывай, но поляку не терпелось испробовать на зубок свое влияние. Он провозгласил, что виноватость – дело гиблое и «каждый сам себе судьба». Так, кстати, называлось мое сочинение на вступительных экзаменах. По совпадению и Марсик выбрал ту же тему. Тогда мы были зеркально похожи: я получила пять, он – два. За грамотность...

Ваца зря затронул единственно совестливую струну в Марсе, ведь тот скорее умер бы, чем отпустил грех свой без внутренней борьбы. С ним надо было с точностью до наобо-

рот, его надо было пригвоздить виной, а не освободить от нее! Ведь Марсик первый и последний раз раскаивался в содеянном, а посему бичевание в радость, он жаждал выйти к миру выплаканным и обновленным и искупить нечаянное зло откровением Ньютонова масштаба. Но нет зла – нет и добра. Человеческая природа не прощает любой иголки, впившейся в упругий задок эгоцентризма, даже в маленькой пакости ей свойственно искать признания. Была в вацлавской изощренности фатальная незамкнутость круга, и лучше бы ему меньше языком болтать... А он вздумал подвести под сомнение преступное деяние, в народе известное как *погубил он ее*. Уж кто-кто, а Марсик до скончания дней своих предпочел бы быть гонимым за то, что погубил сам, чем бегать в курьерах у высших погубителей. Посему он принялся мстить Вазику медленно, неудержимо, в каждом подтексте, выгадывая момент, страшно и смешно – смешно для нас, наблюдающих, несведущих... страшно для нас, узнавших все позже.

При Марсике мы помалкивали, а сами, уединившись, как только не прохаживались по синглу, обретавшему пока еще незавидную популярность в тесных кругах. Никогда не думала, что для народа как медом намазано там, где и словом не описать. Сколько Марс речей ни вел – все без толку, но на том и строилась интрига: великое не опишешь ни вкратце, ни всуе, не зря у Бога нет имени, точнее, оно не про нашу честь. Мы и про масонов не в курсе, про что они тер-

ли в своих ложах, но ужас до чего интригующе; в интриге же скоро захлебнемся – на улицах ступить негде, чтобы не попасть пальцем в эзотерику, вперемешку с бананами – тайные знания, розенкрейцеры, вуду и знаменитые кактусоведы. Модно! Почему я тоже не сподобилась на свою маленькую доктрину?! Это куда проще, чем завести мелкую лавочку, написать диссертацию или смастерить тысячу журавликов. Нет смысла стремиться к конечному продукту, главное – выдумать сюжетогенный намек, порождающий приятные аллюзии. «Вершина» – это... спасение гибнущего товарища, снега Килиманджаро, Высоцкий, Мимино, в конце концов... и масса всего трогательного и героического одновременно. И потом само название! Я всегда говорила, что слово, ласкающее ухо человеческое, – половина успеха любого начинания. Вначале было не просто Слово – Слово Благозвучное...

Эля – вот кто понимал это лучше других, посемя я и не сомневаюсь в первоисточнике. Она любила красивое до патологии, «кукольным» своим зрением причудливо толкуя видеоряд. Убей бог, я не могу отличить красивый член от некрасивого, а она могла, пусть и твердила при том, что сие – лишь опыт, опыт... Нет, вранье, бабцы, кукующие веками без мужей, они это любят: свой несуществующий секс, своих отвергнутых женатых аполлонов, связанных досадными условными узами. Все рассказывают одно и то же: он любил меня до изжоги, но не мог бросить немощную – неприспособленную, глупую, многодетную – жену... Плюс рой обиваю-

щих пороги мужиков для праздника. На самом деле истинного опыта тут – воробей какнул, они давно забыли, как это делается, но ведь кошмар – признать себя едва прикуренной беленькой, с золотым ободком... брошенной во мрак с перрона, потому что подошел последний проходящий! Нерастраченность по женской линии – неприятный приговор. Еще бы! Да мне и фасонистую салфетку в кабаке жалко выбрасывать, пока я ее не зажулькаю до полной непригодности, а тут речь о даре Божьем – о неповторимом бытие.

...Кстати, пристойно ли сигареты Vogue уминать в единственное число, и если да, то случайно ли в этой форме они созвучны с женским органом?

...Так вот, кто знает, тот помалкивает, либо плотина прорывается скандально, на весь мир. Что опять-таки большей частью выдумка, но иные и впрямь резвятся не по-детски. Не знаю, как обстояло у Эли, никогда ничего не знаешь, пока одно из данных нам ощущений не подаст сигнал – вот оно! И, скорее всего, на это способно одно-единственное ощущение – интуиция. Мы уяснили однажды, что нам выгодно с Эльвирой Федоровной вместе ходить на вечеринки – нам нравятся очень разные мужчины. Всякие Брандо, Маккартни, Битти, Филиппы, Пеки, Делоны, Бельмонды – о многих я и понятия не имела о ту пору, но о ком имела – так то просто готовые болванки для кукол, по моему разумению, самые что ни на есть натурщики для матрешек мужескаго полу. Эле же они застенчиво нравились. Очень спокойно нравились. Вот

что у нее на «файф пойнтс» – отсутствие пафоса проголодавшейся пенсионерки, нацепляющей очки для скрупулезного просмотра эротического триллера, дабы порадовать нас критикой из народа. Такие своих кумиров любят душно и напряженно. Эля же вела себя достойно, как человек с глубоким жизненным опытом. В своих предпочтениях она оставалась бутафором. Нет, я не говорю, что это плохо, это очень даже замечательно, потому как есть тема для ехидства. Разве интересно с теми, над кем нельзя по-легкому поглумиться?! Вот я и поглумилась: понимаешь, говорю, приятственность плоти налагает общественные обязанности. Кем должен быть красивый мужчина? Пункт «а»: бабником. Пункт «б»: голубым. Пункт «в»: другое. Но что? Актер, включая гения, он тоже либо бабник, либо голубой, либо «другое». Что за стадия в промежутке? Только неврастеник, ибо не в силах соответствовать ни первой касте, ни второй. Больше того, сядясь промеж ролей или пытаясь усидеть на нескольких, заработаешь многие печали, вплоть до импотенции. Все-все болезни от нервов, и даже триппер от них же, потому что «страх от того, что мы хуже, чем можем». Он бьет в ту точку, о коей печемся.

– Вот, – привожу Эльвире пример, – твой Брандо. «Ты взглядишь в его лицо!» Явно гондурас его беспокоит.

– Это не гондурас, – обиделась Эля, – у него с детьми проблемы...

Вмешался Марсик, ткнув меня пальцем в ямочку на под-

бородке: «Это твоя первая настоящая мысль. Поздравляю!» Я, конечно, тоже его ткнула в подбородок без ямочки, но про себя мне было лестно. И про каких детей Эльвира Федоровна! Во время, запечатленное в просмотренном эпизоде, у Брандо дети если и были, то махонькие... ему уж с ними тогда точно никаких проблем!

Эля спорить не стала, только призналась, что считала меня недалекой и со странностями, а теперь нет, отнюдь. Просто диву даешься, как, единожды сболтнув, меняешь тональность бытия и как важно, что о тебе подумают, и еще важнее прояснить это вовремя, ни раньше, ни позже. Мое тщеславие устроено без извилин: кто ко мне – к тому и я, принцип кукушки и петуха. Что касается грубой лести, так мне все чаще правду-матку, я не избалована реверансами, если и подмажут елеем, так и тут матка замешана. Стоит врагу мне подмигнуть – и я возлюблю его без аннексий и контрибуций. Эля объяснила, что у меня дурной характер, но с этим уж ничего не поделаешь, как с монеткой на дне океанском, не извлечешь. Я изменюсь неизбежно – она объясняет, – но пусть как можно более плавно, мягко, постепенно, как в медленном стриптизе, потому что медленный полезнее обоюднo. Она не пояснила, что значит «полезнее», но мне кажется, я поняла. Я ее спросила, почему она не останется здесь, в Москве, здесь и театров больше, и жизнь шибутнее, и вообще, подразумевалось, – Марсик...

Эльвира Федоровна прищурила слезящийся от дыма глаз,

дескать, ну ты даешь! Думаешь, я не потаскалась по юности, думаешь, хуже тебя, пигалицы?! Знаю, знаю я Москву, эту отставную прокуроршу с новенькой челюстью, с шершавыми загорелыми ляжками, раздвигающими тугой шелковый разрез, и с туфлей на босу ногу, с хорошей туфлей, которую наденешь – и снимать расхочется, нога в ней спит. А Москва-душка любит дать поносить, любить за стол позвать, в яства носом потыкать, только ты успевай каждого попробовать, потому что накушаться не дадут, тут не кормят – тут показывают, вот, дескать, куда тебя пустили со свиным рылом твоим... Добрых рук едва коснешься, так что прощайся с ними сразу, они есть, да не про нашу честь, обещанное храни как память, не более, и телефоны пусть при тебе только те, что помнишь наизусть. Москва любовь подарит обязательно, и не одну, и любую, она не может при виде гостя по сусекам не поскрести, пыль не сдувануть, не плюнуть и растереть для новизны и не всучить прошлогодний календарик, забытый кумой зонтик, терку для мозолей... Принцип хорошего продавца – вначале втюхать залежалое, но клюнешь на удочку – и ведь парадокс: не пожалеешь, привяжешься! Потом – как проглоченный кусок говядины на ниточке из чеховской «Каштанки», – Москва вынет осторожно подарок, а глаза проникновенные! Все понимает, только деньги у нее уже посчитаны и скручены резинками. Тебя, прости, не ждали и прибора не поставили. Ты ж ведь не Удача! Выйди на балкон, остынь, здесь мало званых – сплошь избранные,

Москва – она как хороводы наши детские: каравай, каравай, кого хочешь выбирай, – но выбирают всегда одних и тех же, по одежке, нелюбимых вовсе, но так повелось. Потому что внезапно она расшвыряет, смахнет скатерти со столов, все вон пошли, окаянные... окинет разруху глазами, налитыми злым смирением... а ты тогда успевай схорониться по кладовкам и замри, замри... смотри в щелочку, что будет!

Кто такое, кроме Эли, скажет?

Еще она беспокоилась за Марсика. Сказала, что зря он играет в подлеца и ее не слушается – ему учиться надо, а не порхать, миру совсем не нужны эти мальчишки как девочки и девочки как мальчишки, мир ими надивится, а после исторгнет их как пестрый космический мусор, ведь с точки зрения эволюции они – ботва, пустое место. В воду глядела Эля, а мне было неловко за нее: засранец предал ее на корню невесть из-за чего, а она по нему чуть не в колокольчик звонит! Мы ведь о нем говорили перед поездом, когда Эльвира Федоровна собралась последний раз к себе. Потом она приедет к Марсу, но уже больше никуда не возвратится. Но никакой угадки! Эля отличалась будничным предвидением. Это когда без помпы и рукоположений рюхаешь, кому чего грозит, в том числе и самому себе. Только вряд ли она опускалась до предположений, с какой стати Марсище не пришел ее проводить по-человечески, почему с ней оказалась всего лишь я...

А он поймал жирную рыбку в мутной воде и покоролев-

ствовал на час в одном «лучшем доме». Не то чтобы совсем из-за денег – по интересу. Если честно, я понятия не имею, с кем эти три дня он был, я в том кругу никого не знаю. Много позже мы там Марсиковы поминки справляли, но можно ли судить по тому о близости? Пришел оттуда весь морщинистый от смеха, потный, дикий, в чужих носках... я тогда впервые узнала, что носки тоже могут быть от Валентино. Откуда мне известно, каким он пришел? Я тогда у него жила, у меня наметился просвет между стульями, то есть одна история кончилась, другая не началась, надо было переждать... Играл скулами, любопытство мое он побаловал года через три. И не про все рассказал... Тогда же он просто пропал, а подруга его здесь, со мной рядом нервничает. Марсик позвонил один раз – и голос чеканный, трезвый, я тут же подумала, что случилось чего. А он говорит, что да, случилось, мол, и Элю он проводить не сможет. «Побудь с Эльвирой Федоровной, ты вроде ее не раздражаешь...»

И началось у меня снова по песне: «страх, от того, что хуже, чем можем», – облеченная драгоценным доверием, опасаясь его утратить; «и радость от того, что все в надежных руках», – разумеется, сделаю все, что смогу, буду метать икру и сдувать пылинки. Эльвира Федоровна сразу показалась старенькой недотепой, накупила на вокзале шанежек и колбас втридорога, осунулась. Я ее, понятно, стараюсь подбодрить любыми средствами, а ей тошно до того, что на меня ее мурашки спрыгивают, и мне даже выпить с тоски захотелось,

хотя я это дело не признаю, я люблю принять с ветерком и с радости. И вдруг она спрашивает: «Пива хочешь?» Я ей: «Хочу ужасно, но покрепче». Эля: идет! Но это у меня без меркантильной мысли вырвалось, я и не знала, что она возьмет меня угощать, да и откуда деньги у женщины после путешествия?! Она ведь официально их себе выцарапывать умудрялась, хотя какие там командировки у бутафорши из провинциального театра! Но мы идем с ней в... Что бывает на вокзалах? Туда и идем. Блюз придорожной закуской.

Мне приятно было вспоминать о том вечере, хотя хэппенинг готовился не для меня – для Марсика. «Накопила денежки, старая дура!» – так она сама говорила о себе. В кои веки накопила... По-моему, тогда именно она и решила взять курс на Западное полушарие. Злые или добрые языки – разве их разберешь! – объяснили мне, что в те дни Марсик получил трудный опыт. Будто в суматохе вертепа... Я закрывала глаза и уши. Не хочу ничего об этом знать. Тут ведь такая штука: нельзя умерщвлять харизму умерших. От этого начинаешь умирать сам. Так что до сих пор не знаю, что за окаянный опыт сбил Марса с путей и стал поводом к этакому паскудству – любимая женщина на вокзале закусывает вино любительской котлетой.

Господь с вами, а почему тогда поминки всегда в том логове?! В том самом, где он завис, пока мы с Элей... Но Марс вечно утыкан вопросами, как святой Себастьян – стрелами.

Я спросила тогда Эльвиру, – на мутном вокзальном кура-

же, – дескать, а вам никогда не хотелось прославиться? Она спокойно – нет, не хотелось. Вообще, ей действительно было не до славы. Не хочу думать, предвидела она или нет, – страшно мне думать, потому что сразу лезу в ее шкуру, цепенею. Думаю, скорее «да» чем «нет», предвидение бывает деятельным, она готовилась, только толком не понимала к чему. Просила меня бросить называть ее на «вы», я с горячностью соглашалась, потом соскальзывала обратно в ребяческий пиетет. Я опьянела молниеносно, у меня организм идеально послушен алкоголю, в том смысле, что ему скомандуешь: пить, веселиться! – и он мигом. Я, упиваясь миссией затейника, давай плести косички из лирических отступлений и наступлений. Вариации на тему славы мунди терзали меня изначально, со времен младенческой несознанки. Приеду в деревню бабушкину – и оторопь берет: буйные мужики, тихие старухи, сумрачные женщины с толстыми икрами пьют водку, полощут простыни в речке Ряске, судачат, ссорятся, встают в четыре утра, носят воду, угощают домашними яйцами, тарахтят мотороллерами, моются раз в неделю в горячем банном аду и тихо тонут в Лете, так и не узнав, что такое Кабо-Верде, Лонжин и каре миа – просто слов этих не услышав. Да не из-за слов, конечно, обида, а из-за того, что люди исчезают легче пыли: молодые, старые, идиоты, умницы-разумницы, праведники, любимцы, подонки, – всех уносит в братскую могилу местного кладбища, чтобы лет через пятьдесят скрытые их памятники свезли на свалку, а

овальные портреты, каждый из которых заслужил слезу живую и прикосновение губами, морщились и тлели. Но Дорiana Грея тут и конь не валялся...

Эля слушает меня насмешливо, интересуется, что же я предлагаю. Я отвечаю, что очень неправильное на Земле устройство. Пусть бы мы после кончины улетали на другую планету, потом на следующую, и так по кругу, и снова Земля, и дальше... Вот лучше бы так, чем полное загнивание в ящике, 9 дней, 40 дней, – и забвение. Оттого и тоска на планете нашей.

– Почему тоска? У кого тоска? – улыбается Эля.

– У меня, – бью себя в клетку, – тоска. Пропадаешь ни за что, – в грязи жил, в грязь и ушел. Неправильно это – лучший дар во Вселенной изводить как семечки. Его надо холить, лелеять и укутывать в красоту всякую, пусть иллюзорную и утопическую – в мечту, как в фильме «Безымянная звезда», помнишь? Мой любимый фильм!

Я, однако, глубоко подшофе. Ясен перец, у меня не один любимый фильм, но про «Звезду» есть маленько. Эля не отпускает улыбку.

– Да сдалась она, твоя звезда безымянная! – Зажмурившись, оголтело отпивает «Изабеллу». – Ты вздумала людей любить сильнее, чем их любит Бог. Глупости это и гордыня, и не выйдет ничего. Оставь человеку человеческое, какое ни есть – все с Его позволения...

Я притормозила. Вот уж не думала, что Эльвира Федоров-

на настолько не чужда, так сказать...

Кстати, Бога я в лицо, как и Вацлав признавался, тоже никогда не видела, только страх божий: скажу дурное – и он накажет. Не будь карательной составляющей, может, мои с ним отношения сложились бы иначе. А так они едва тлели, как беседа с чужим строгим мужем в то время, как хозяйка отлучилась по нужде. Сидим, пялимся в стороны, фантики мусолим, полный вакуум. А как подруга вернулась, так дундука ее и не замечаем, хихикаем. Хотя смутно догадываемся обе, что для чего-то он нужен тут, наверное, камешек на сердце замещает, чтобы мы слишком на веселящем газу не увлеклись в облака, чтобы не получилось досмеяться до беды. Вот и с Богом такая же неловкость. Но для Эли я не стала метать бисер, потому что перед свиньями не стоит, а перед людьми уж больно хлопотно. Она верующая оказалась, а я из колеблющихся-сочувствующих, кишка тонка мне растолковать ей, как забочусь о ближних порасторопнее Неизреченного.

Я перевела дух, полюбопытствовала, как она насчет фаталистических теорий друга, в курсе ли. И тогда она так произнесла красивое слово «сингл», словно сама его придумала, и ничуть ее не коробила идея, она погоняла вино в бокале по кругу и ответила, что так оно и есть для львиной доли человечества. Монро и Достоевских посоветовала не трогать, у них отдельный график, а мы, толпа... не твои ли, мол, недавние слова – в грязи живем, в грязи идохнем... Я давай отне-

киваться – речь ведь была совсем о другой толпе, как можно так переиначить?! Эля теперь уже не улыбалась.

– Толпа – она одна на всех. Разве тебе не страшно от того, как мало дается в этой жизни? Да и одна вершина нам – великое благо посреди беспросвета, разуй глаза! Вы молодые еще. А я вот смотрю на своих друзей – кто ж из них получил то, чего достоин? Погуляли в юности, теперь ярмо на себе тащат – и вся любовь. А кто и умирает медленно, а у кого с детьми драмы... Они для меня лучшие люди на земле – и какой же черствый кусочек счастья им выпал, чтоб годами размачивать...

У Эли блестели веки, и вся косметика сгрудилась в складочках. Я угадала ее трепет – старательно воздевать взгляд к небесам, чтобы не выплеснуть слезки, подкатившиеся к самому краешку, не размазаться совсем. Я вся истомилась от намерений ее утешить и отправить домой с наименьшими потерями, и чтобы на лице читалось скорее «да», чем «нет».

Я решила на отчаянную ложь: «У Марсика долги...» Ложь не то, что долги, а то, что они ему помеха, но Эля не дослушала мою тонкую нетрезвую конструкцию:

– Еще скажи, что он играет на бирже...

Подошло время поезда.

Вот такая была наша последняя встреча с Элей.

4. Дочь Сатурна

В эру правления Вацлава и золотого тельца у Марса появилась Настя. Редкий типаж. Она являла собой превосходство Марса над прочими планетами, – похоже, Настю слепили на заказ, иначе как объяснить, что природа стерпела такое совершенство. Конечно, в первую очередь царь-девица должна была утереть нос Вацлаву – тому все с матримониальными планами не везло. Поляк у любой кандидатки в подруги прежде всего прочего пытался занять денег. Причем не плевую сумму – просить мало Вацiku было стыдно и ни к чему, – он без шуток зондировал благосостояния и сетовал, что больше ему, бродяге, ничего не остается, и сетовал столь беззастенчиво убедительно, что пропитывал атмосферу правотой альфонса: ведь не последний кусочек изо рта какой-нибудь санитарки собирается стянуть, а снять сливочки, излишки. Наплывала медленная ясность: безлошадный Ваца без богатой партии стухнет, сникнет, наплачется. Только Настя его речами брезговала, старательно открывая нам велосипед про мужчину, коему негоже повисать на содержании у женщины. И у мужчины негоже. А мы-то думали, что это модно!

И мы не полюбили Настю. С ней Марсик сделался надменным затворником, пил неигристые сухие вина и взялся ходить в галереи. Два года после Эли он придумывал, как бы

отомстить судьбе, и не придумал ничего нового. Настя между тем тоже знала, что такое «играть на бирже», хотя была художницей. Но это вам уже не Эля-бутафор, у Насти картины назывались «Василиск», «Страшный Суд», «Ифигения в Тавриде». Могучие полотна. Глядя на них, я с трудом балансировала под тяжестью опрокинутых канонов: до сих пор в графе «Великая художница» было пусто, разве что изломы и превратности подруги Родена Камиллы, но та скульптор... а тут на тебе – живая и гениальная! Улыбается. Светится. Причем как надо – без фанаберии, с нервной иронией педанта подсматривающая за недолюбленным делом рук своих. Кто бы мог подумать, что передо мной трогательная мистификация! Настя – она, конечно, картинами баловалась, но все больше авангардом и фантазмагориями. А фундаментальности – это были работы ее отчима.

Впрочем, до меня эта весть дошла длинной тропкой. Уже после того, как Настя примкнула к Вацiku. Но и тут Марс замешан – как бы ни презирали сослагательное наклонение. История его не знает, зато я знаю. Видимо, одной угробленной жизни мало, чтобы одуматься. Одна жизнь – еще не улика. Для верности нужна следующая. Дабы убедиться, что имеешь власть, да еще такую, сродни фантомной боли. Сродни собственным ягодицам, которые толком сам не увидишь, только с помощью особой композиции зеркал. Три человека на Марсиковой совести, Настя вторая. Вацлава задело рикошетом. Он жив. Одиночка с двумя детьми. Ему некогда

скорбеть. Он заматерел, похорошел, наверняка пролезет куда надо. Он не Элечка и даже не Настя, безвестность для него – самое горькое несчастье. Этому его научил Марс, бог если не войны, то беспокойства. Изредка мы с Вацлавом – теперь, после всего, – видимся, и он угощает меня невыносимым национальным блюдом. То есть он не специально. Он кладет передо мной меню, а я с плохо скрываемым раздражением принимаюсь листать, требуя рекомендации. Все равно я в этой дорожке хавке ничего не смыслю! Вацлав стервозно мычит невразумительное, и мне приходится самой тыкать пальцем в небо. Хотя не совсем в небо, все-таки одним принципом я руководствуюсь без перебоев: поменьше еды, побольше выпивки. Почему-то на выпивку в заведениях мне денег не жалко, особенно чужих. А поесть можно и без помпы.

Марсик учил: на что не жалко денег, на то не жалко жизни. Я не во всем с ним соглашаюсь. И насчет психоанализа – что он в плохом климате не приживается, – я тоже не поддерживаю.

И вот я быстро пью, а Вацлав медленно ест. У него теперь ни друзей, ни женщин. Одни коллеги, партнеры, рыбки в мутной воде, – все не то, не то. Если бы не марсианская путаница, поляк шел бы и шел себе самоуверенной и крепкой дорогой, как и подобает «твердому искровцу». Но Марс если уж для кого начался, то не проходил, задерживался в дверях, сквозило. А ему что... ведь он ненарочно, его пока держат

за фалды, с ним рады... пойти в разведку, даже если вчера хотели убить. Даже если он умер. Вацлав скучает по нему. Что касается пропавшей без вести Насти, то ее он запер в себе на замок. Это простительная боль. А вот как он может тосковать по душегубу – это повергает его в злое изумление. Мы расходимся, хорошо понимая, что хотели сказать друг другу и не сказали. Тоже способ.

Мы остались дороги друг другу как память. Кто бы мог подумать...

Таким образом, Марс убил двоих, а третьего покалечил. Словно авария. Из меня мимоходом сделал... меня. Могло быть хуже, и до «хуже» ничтожный шажок. Если бы я для него значила чуточку больше, он бы убил обязательно. Из мести. Единственное, что он не мог пережить спокойно, – привязанность. Она могла его ставить только в страдательный залог. Действительным залогом он брезговал. Ему это удавалось! Возьмись вдруг я брезговать – черта с два. Впрочем, в морали толстовской Китти о том, что девушке не к лицу желать прохладного к ней господина, я разочаровалась еще раньше, чем получила паспорт. То есть как только мне понравился узколицый канадский фигурист на закате карьеры. Даже если бы мне и вздумалось взглянуть в его маленькие галльские глазки... а у меня и в мыслях не было, я забавлялась шизотимической определенностью: вот и у меня пришла пора, вот и я влюбилась. Степень недосыгаемости объекта меня ничуть не огорчала. Другое дело Марс. Кате-

горически не его репертуар. Хотя даже Китти, я думаю, не осудила бы его за безответную любовь – ведь он мужчина, ему как бы даже и положено. Выходит, мы с Марсиком оба не вписываемся – каждый в надлежащий ему образ. Я подавно с моей манерой не приметить слона: взяться за работу, не спросив о цене, заплатить за чай, сахар, килограмм гречки – забыть сдачу, и гречку, и чай, выйти за пластырем – купить черта лысого, даже ликер «Егермейстер», а пластырь начисто из головы выместить. Потом мозоли в кровь, неудачное свидание или на важной встрече скажут: «Приходите через полгода». А все оттого, что в кузнице не было гвоздя. И над сложившейся нелепицей возвышается inferнальный «Егермейстер»... являя собой вечное зарождение свежего сюжета.

Что касается Марса, непостижимые его фобии в отношениях взялись ниоткуда. Наследным кронпринцем он не родился, и даже единственным ребенком в семье, и даже не мыкался ни золотушным, ни астматическим, ни хилым. Так чтобы брезгливо отскрестили излишки любви шпателем – это вряд ли. Думаю, в детстве он попал к злой старухе из сказки «Карлик Нос». Впечатление мое не было столь бесспорным и стойким, и я не знаю, кто был той старухой, к которой в лапы попадешь на семь лет, а она и не поперхнется. В сказке маленький Яков попадает в семилетнее рабство к страшной носатой ведьме... и через это, как можно догадаться, имеет в итоге почести, и славу, и благоденствие. Готический немецкий оптимизм. Хоть на том спасибо! И вообще, это замес

для дитя полезный: дотрудись до мастера, будь кроток и милосерден – и воздастся тебе по заслугам. По сути – отодвигай «вершину», будь она неладна, не торопись. Старуха, разумеется, символ, или, допустим, некий персонаж, снаружи неподарочный, а внутри – драгоценная порода. Благодаря подобному опыту земля наша и качается, как в авоське, над Тартаром, не сверзлась доселе. Не знаю кто, но подозреваю, что был-таки женский персонаж в его детской жизни с инквизиторским абрисом, кто взглядом мух давил. Быть может, не нарочно!

По Фрейду, суровость матери – краугольная улика, и по нему же, властная мама и мягкий отец – опасная диспозиция для сына. Но что, если на нас столь же сильно воздействуют боковые неродственные персонажи, встреченные в уязвимом возрасте? У меня такой был. И у Марса – тоже. Давайте сознаемся дяде Зигмунду, что он был у всех. И вот получается, что не будь у Марса той таинственной и неизвестной мне травмы, то его внутренний уничтожитель любви, который есть внутри всех нас, не работал бы с такой мощной силой, и Эля уезжала бы в Америку не покинутой, а временно разлученной, и у нее была бы надежда, и она осталась бы жива. А прекрасная Анастасия тем более.

Прекрасная Анастасия с чужими картинками. Отчим ее любил. Он всех любил, святой был человек, как мне рассказывали. Жил-жил кладовщиком, картин своих стеснялся, но подозревал, что подход ущербный, искусство должно

принадлежать народу, а труд – вливаться толстой струей в труд республики. Правильный был человек. И вот в жизни его появилась Настя. Уже совсем взрослая. Неземная. То, что доктор прописал. Кладовщик кладовщиком, а промоутерская жилка вдруг проснулась и зачихала в нем, как спящая принцесска. Она согласилась «присвоить» папины художества. Такая девушка – еще и маслом пишет! Ее лицо родилось для успеха. Крушение стереотипов должно было сработать на «ура». Работами заинтересовались проклятые буржуины. Лед тронулся в Датском королевстве. Вопрос – куда. Настя величаво и покорно несла в подоле зародыш славы и вроде вот-вот должна была выйти замуж за иностранца – а чего желать еще было в смутные времена лучшему жеребенку в стаде? Но на тропке потайной на олимп столкнулась лбом с Марсиком. Тот ошивался у подножия и искал легких путей.

В первый же вечер она раскололась, выдала отчиму интригу, покаялась. Марсик набрал полную грудь воздуха, мысленно возблагодарил детскую секцию самбо, куда вовремя определила его родительница, и, зажмурившись, прогнал от себя бесов. Беспомощная душа просилась к нему на постой, с ней надо было поступить благородно. По самбо у Марса был трогательный учитель с евангельской закваской, он все больше силу духовную пестовал и зло искал в себе, чего желал и питомцам. И кто бы сомневался: идеальный бой тот, что не случился, потому что мимо стаи отморозков иди,

возлюбив ближнего... и кому больше прощается, тот больше верит, и будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби, etc. Забавный, он мнил себя атеистом и лицедейски умалчивал, кого цитирует. Впрочем, допускал с интонацией прогрессивного доцента, что Иисус, Мухаммед и Гаутама – исторические личности. Оно, может, и верно, хотя Духа Святого называть исторической личностью я бы не рискнула, что, по совести говоря, не мое дело, а богословское... Словом, механизм вытеснения у солнечного самбиста работал отменно, жаль, что он не перекрыл по значимости «злую ведьму».

Умолкаю на сей счет. Не мое собачье дело и даже не богословское. Просто память хранит артефакты. Когда Марса не стало, о нем думается без табу. О нем и о Насте, которую угораздило пройти его насквозь. Вначале она угодила в плодородную сущность, потом в пустыню. В пустыню лезть не стоило, в ней носились жестокие мысли. Не всегда нужно доходить до самой сути, иной раз не мешает вовремя вынырнуть на свет и перекреститься. Насте же не терпелось прояснить, есть ли жизнь на Марсе. И под Марсом, и около. И на солнечной его стороне, и на пинкфлойдовской dark side. Был в Насте странный нездоровый лоск. Она мертвых никогда не видела – ни людей, ни собак, ни кошек. И в доме таком жила, где никто не умирал по красивой случайности. Сюжет счастливый, нетронутый, но невозможный. Как она умудрилась... в детстве голубей не хоронить! Помню, мы тогда нашей птичке крестик из веток смастерили и веноч

сплели из помойных семицветиков, дети первобытно воодушевляются ритуалом... Неправильно это – козырять невинностью перед Танатосом, все ж там будем, даже самые ослепительные вроде Светличной из «Бриллиантовой руки». Если Насте удалось миновать печальной встречи, выходит, она непроизвольно брезговала. А это предательство ушедших.

Но что я, право, к ней прицепилась, повезло девочке – и славно! Я к тому моменту тоже не сказать чтобы сильно опытная была. Но я видела. Однажды лет в пять, когда в бабушкиной деревне умер уважаемый и неизвестный мне от загадочного слова «белокровие». А похороны в тамошних краях – на всю округу, оркестр, ордена несут на подушках, женщины рыдают, жара, жуть... С тех пор народные праздники не выношу. Нет-нет да затарахтит где-нибудь военная мелодия, а мне сразу так муторно, так тошно, и река времен, смывая нажитые фьорды, все скитания и университеты, волочет мне из бездны те подушечки красные, и зной, и пот, и долю человеческую размером с черный платок...

Откуда я знала про Настину танатофобию? Да подслушала. Мне ведь жуть как интересно, как люди меж собой говорят, все их обывательские драмы. Слышу, как Настя Марсу лепечет: не пойдем к госпоже такой-то, там мертвечиной несет. По совести говоря, я не знала, о ком там шла у них с Марсиком речь, но на всякий случай про себя окрысилась. Сама ты, думаю, мертвечина, восковая Настя с золотистым напылением вместо эпидермиса! Типун мне на язык бы, да

поздно теперь. Мне бы примириться с ней от души. Почитают заблуждением, что благой жест меняет фабулу до неузнаваемости. Я же думаю, что чудо – только чье-то смирение, сохраняющее равновесие обеих подставленных щек. Только в нем спасутся все невыносимые Анастасии. И всетерпение часто бессильно, но это не значит, что в руке пустая карта, иной раз и поражение имеет смысл: не уберегли – но хотя бы уберегали, и птенчику было тепло. Джек Николсон в «Гнезде кукушки» говорит: «Я хотя бы попытался...» Из множества попыток одна в яблочко, даже если все они поперек буржуазных ценностей, такая вот выходит революционная ситуация задним умом. Не хватило мне пороху христианского на Марсову диву, я ж не знала, что будет, и не знала, что было, – про ее бескорыстный плагиат, – почитая прекрасную Анастасию за родню куклы Барби, за персону из рекламной сказки про жизнь. А она вон что!

Гнилой ход выбрал добрый отчим. Все скрытое опаснее открытого, кроткий дьявол страшнее отпетого. Марсик объяснял ей, что так нельзя, бросай, мол, это дело, ты же сама рисуешь, у тебя... он оскорбил ее словом «задатки». Не знаю, как Настя, а я бы фыркнула: ты, никак, старик Державин, чтобы сверху одобрять, – задатки-придатки, понимаешь! Девица без того своих опытов стеснялась, что Марса злило в ком угодно. Тернистый клубок, и кто мог предречь, что распутает его для меня Вацлав. Как тут не перефразируешь дражайшего Булгакова про людей, что откровенны, и,

главное, откровенны внезапно. Ваще было врать без надобности, он к тому моменту давно уже утерял мятежное вдохновенное единомыслие с давешним братом по духу, дающее почву для всевозможных фальсификаций. Правда, обрел новый мотив, но о том позже, все равно он им не пользовался – в его устах и компромат не компромат: он видел, как Марсище бьет Настю по щекам, – но ведь ради науки, как еще из зомби дурь выбить. Не выбил! Она слушалась папу-отчима, он умолял не разоблачать его до срока, ведь скандалить нужно вовремя. Кладовщицкая сермяжная хватка! Она бы осталась в истории трагической графоманской возней, если бы теперь былому кладовщику не поперла масть. Болтают, что полотно его облюбовала знать, корпорации и все те же неближние гости столицы. Меня даже ангажировали заглянуть в одно посольство и оценить отчимову живопись на почетном месте, но мороз по коже продрал от будущей экскурсии, я уклонилась. А что, если это все-таки Настенькиной рукой писано, такой вот перевертыш? Молчание было мне ответом. Неудивительно: после случившегося это имя не берут, а меня упрекают в борьбе за несуществующие права несуществующих индейцев. Но уж увольте от Сатурнов, пожирающих своих детей, пусть даже и неродных, пусть и не пожирающих, а так выходит из моей хлипкой обвинительной прихоти.

Впрочем, вся история с подменой авторства для непосвященных в увертюру граничит с плацкартной байкой вроде «в

курсе ли вы, господа, что песню «Годы летят стрелою» написал не Макаревич?». В курсе, ну и что? Тот, кто написал, права качать не собирается. Дай бог, чтобы жив был. Права на экранизацию его биографии пока не купила ни одна «Парамаунт». А жаль. Но вот «Ифигению в Тавриде» уже купили. Хотя только ленивый ее «Офигенией в ставриде» не обозвал. Буржуйам-то все равно, а для нас, пограничных детей эпохи, ставрида – самый дым отечества. В наших с Марсином городах вместо мавзолеев царили ЦГ. Центральные гастрономы. Скучные районные Вавилоны с консервными пирамидами, с эмалированными усыпальницами для глыб цвета твердого гноя – жиров и маргаринов, мерзлых кубов мойвы. Времена рыбы! Одни рыбки – из неприкасаемых – куковали с нами, другие лоснились в мечтах. Они, точнее, она называлась балыком. Лет до шестнадцати я почитала ее самой серьезной рыбой на земле, кликуха у нее угрожающая, как у хана, я думала, что она и была Золотой...

В лучшем для меня отделе, кондитерском, выбор был побогаче, и то, не ровен час, снова пирамиды, только из коробок с сухарями, и продавщица затерялась, словно детей делает с грузчиком, чуть отойдя от кассы.

Казалось бы, нам, ротозеям, какая разница, кто чью песню поет, лишь бы выводил душевно. Редко кого тревожит, что если Икс поет песни Игрек, то по житейскому обыкновению из них двоих один норовит сгинуть, а другому вся маржа под хвост попадает. Икс на коне, Игрек в забвении или, напро-

тив, Игрек фореве, Икс починает примус. В лучшем случае делят меж собой славу и деньги, кому что больше нравится, – если, конечно, они вольны распоряжаться участью. Даже патриархи не всегда вольны. Лука, Матфей, Соломон, Иеремия, etc. – группа, прости, Господи, товарищей, чьих откровений дело – самая популярная книга на земле, и что же они имели? Подозреваю, что nihil. Но златоусты довольствовались Царствием Небесным, им наши пошлые искушения как слону дробина, а вот касаясь наследников – вопрос. Возможно, и нет среди них благолепного единодушия, но никто пока голос не подал. Значит, наследственность не подкачала. Нам, муравьям, тем более стыдно роптать. Все великое и лучшее родилось безвозмездно, пусть бы Игрек остался горд на свой манер, Икс – на свой. Однако Настя попала совсем в другой переплет, хоть и не тщилась войти в большую игру, она, как патриархи, – еще раз прости, Господи, – не за славу и не за деньги, за что же ее было наказывать? Но пока Марсик ее спасал, она казалась идеальной и вредной. Благополучие, оно же забвение о неблагополучии сырых и недолюбленных, а проступить тревоге на лице ее мешала заданная программа. Посему мы, не приближенные, не подозревали о драме, завидовали себе спокойненько и прохладно. Марс на самом деле за вершину свою отдувался, неловко ему было за Эльвиру Федоровну перед Анастасией. Бывает. У многих. Но у Марса все было чересчур и зашкаливало в противоположные страсти. Но это уже общее место – детская амбивалентность,

кого спасаю – замурыжу до смерти, это все известно и легализировано классикой мелодраматического жанра. А толку!

В итоге коллизии были прикрыты ростом благосостояния. А если учесть, что Марс обожал вводить в заблуждение, даже не только из-за выгоды, а из любви к искусству, то я поверила Ваце на все сто. Глупая воспаленная планета, якобы такая близкая, что человечество вечно планы на нее имело. Вот кто точно не «как патриарх», кого торкали и слава, и деньги, – но дискретно, непредсказуемо, как придурочный петух в одно (да в любое!) место клюнет, – так и торкают, а в промежутках – душа алмазная, Дарвин, теории, все дела. Главное – гениальный сводник, кого надо с кем надо сводил, – и через это выходили правильные дела, дети, альянсы. Настя пропала без вести, а отчим попер в гору – и все началось с Марсика...

5. Синдром сопровождающего

...На могилу к нему сейчас никто не ездит. Далеко она. Да и нет его там, мне кажется, хотя сдается, что стыдно поддаваться штрейкбрехерству мегаполиса вроде «ехать, долго, не поедem...». У него сосны, окраина деревни. Нет, он определенно не вынес бы глухого затишья. Кошунственно и невозможно, но справедливее было бы рассыпать его в самой гуще центрального оживления, в точке welcom to kabaret, в точке пространственной, временной, метафизической и виртуальной одновременно, в точке с зазывно трясущейся стрелкой в сторону сиюминутного пира. И тогда Марсик продолжал бы свое завлекающее ремесло. Впрочем, он и без того продолжает – хожу по городу, а он рядом зудит: вот здесь я жил, а здесь мог бы, а туточки, помнишь, нам дали пострелять из ненастоящего пистолета... Тогда Марс переименовался в агента. Не он один. Хлопотливое занятие это – для всякой твари от лифтера до академика: смытые новыми ценами беспечные путники с надеждой вкушали агентской доли, но не всем хватало пороху дотянуть до первой прибыли, которая каплей материального смысла приводит в норму желудок и лицо. Однако Марсик тепло устроился, агентствовал в богемной сфере, и у него получалось. Оставалось приветствовать удачливого торговца в себе, что Марса смутило настолько, что он норовил спихнуть расторопное «я»

в реку или спрятать в подпол. Но дабы не сконфузиться перед публикой, не обнаружить обывательских метаний, в нужный момент расторопный джинн с помытой шеей являлся как лист перед травой. Куда деваться, Марсик любил эту игру, деньгам приятно удивлялся, как сопутствующему банку, как празднику, словно повседневность оплачивал из других средств. Выйти вечером с новой стрижкой, в куртке отставного летчика и обаять – вот пик удовольствия! Вытянуть как можно дольше ту ноту, когда барыш – еще дурной тон, но вопрос уже решенный, он уже в стадии алхимического перехода из замысла в материю, но пока не отяготил обязательствами, не замутил вдохновение. Сначала о сделке как будто нет речи, сперва китайская вежливость, уместно рассыпаться о том о сем, и вдруг показушный декор тихо треснет в самом живом месте, симпатия оплодотворит симпатию, найдутся общие неожиданные интересы вроде игры в маджонг или уральских художников-примитивистов. Общее пристрастие меняет окраску происходящего как психоделик, сама видела, находясь однажды в культурном шоке: оказалось, Марс столь же болтлив на языке мира, сколь и на родном. Брела за ним опять в смутном статусе младшей фрейлины, он – в диких фиолетовых ботинках. Сказал, оглядев меня насмешливо:

– Я сейчас на одну встречу. Твоя задача – хлопать глазами. Можешь и не хлопать, просто вызывать доверие, его же и демонстрировать.

Я спрашиваю, дескать, доверие какое? Оно ведь разное бывает, кроме всего прочего, вызывать доверие и выказывать – не одно и то же. Он отвечает:

– Не усложняй. Доверие пастушкино.

Ладно, пошли. Мы прибыли в темный бар, там Марсику пожал руку улыбчивый большеглазый потомок викингов из типа обаятельных подозреваемых наследников в английских романах... в того же фасона ботинках, как у Марса, только рыжих. Они тут же промеж собой залопотали, мне, тогдашней неофитке, налили виски, не нюханного доселе. Что ж, гнилой и благородный вкус. Мне тут же захотелось вставить слово, Марсик, как будто это предвидев, спросил меня о совершеннейшей чепухе, дескать, скоро ли отмотаю свой университет. Я собрала в пучок все знакомые европейские идиомы. Мне уже казалось, что будет мило заговорить на языке «оригинала», даже и утопая в невозможных транскрипциях. Меня поняли без фанаберий, виски – решительный демократичный напиток, при всей родовой неопределенности для русского уха, на вкус он, очевидно, мужского пола. Захотелось еще – и выпить, и лясы поточить, первое без второго никчемно. Но мне особенно нечего было развивать про университеты, иное, достойное молодых аристократов, в голове не шевелилось, как это всегда бывает, если лихорадочно меняешь тему.

– Пей еще, – сказал Марсик. – Тут такого никогда не будет, это тебе не «Джонни Уокер»...

Я послушалась, хотя аргумент мне остался не ясен. Я и сейчас не разбираюсь, чем плох «Джонни», но при случае не премину снобски фыркнуть в его сторону в память о хорошем. Неловко перед «Уокером», ну да с него не убудет, я думаю. В память о хорошем еще не то оговоришь. Хорошего, кстати, получился не особенный излишек: глядела потом на сумеречное людское движение в окне. «Они» там мыкаются, ползут по скучным причинам, а я тут вне графика прожигаю вечер. В другие дни так же ползу, даже хуже. Мелькнула и тут же пшикнула вспышка привычного отчаяния – остаться бы с Марсиком на каждый день и подружиться с чертом в табакерке, так нет, я не вписываюсь в компанию. У меня получается другое веселье, простодушное, бедное, сумасбродное, да и не в том перец. С Марсом даже если тихо, то все равно с огоньком, и время на мозжечок не давит, и балкон с панорамой, да пусть даже и первый этаж с видом на собачье дерьмо – все равно с Марсом лучше и безнаказанно, и свою бутылку можно распивать в заведении, в тепле, а не в парадной... это я к примеру.

Не помню, что было дальше. По мне, так действие напоминало встречу неблизких товарищей по Гарварду. Именно тогда Марсик договорился о продаже «Ифигении». Сказал, что я принесла ему удачу, но больше так особо в бары не звал, управлялся собственной легкой рукой, мой антураж в качестве персонажа уральского примитивизма уже не требовался. Анастасия все худела, «обострялась», словно сглазили ее,

худела не по-хорошему, по-чахоточному. У нее и так ничего лишнего в габитусе не водилось, а тут стала походить на зловредную куницу. Путешествия в чужих шкурах до добра не доводят. Они стали всюду ходить втроем – она, Марсик и Вацлав. Эти оба хвастались, Настя молчала, что раздражало. Мы ж, дураки, не знали, что она подставное лицо. Каждый смущенно мял про себя мыслишку, что вот, дескать, все дано барыне, а она рот кривит. Определенно, нельзя совмещать в себе три абсолюта: красоту, талант и деньги, – не то каратнет! От одного элемента непременно придется избавиться.

У Насти денег вроде не водилось, но, похоже, и двух китов много. Может, тело сохло в предчувствии катастрофы? А может, синдром сопровождающего? Это когда великие люди обкладывают себя, как дренажом, оруженосцами, и в случае беды по ним пулемет и строчит, а туз с кровью на рукаве продолжает править. Нет, это не про политику, это про инстинкт: великий непременно поглотит за свою жизнь хотя бы одного своего стойкого солдатика, даже сам того не желая. Обычно это жена-секретарша или просто жена. Но часто и жена, и секретарша... Для безопасности прочих невинных жена должна совместить в себе все функции. Или есть еще вариант Тео Ван Гога. Но Тео – жемчужина редкая. Еще реже – если муж, да и больших жен – днем с огнем... Не надо приближаться к гению. Если невтерпеж – придумывай свои законы, не искривляй тщеславие, потому как из этого получается жертва... Кому это все нужно, живи без примесей, иг-

рай вчистую... Можно долго колупаться в моральях, но кто-нибудь все равно попадетя в мясорубку, дай бог, чтобы не ты. У Вацлава и Марсика вполне хватало материала на одного из Аллеи звезд, нашей или ненашей, с ними опасно было водиться.

«Девочка, с которой детям не разрешали водиться» – помнится, была у меня такая книга в детстве. Немецкой писательницы. Немцы-австрийцы в искусстве отличаются крепкой воспитательной жилой. В сочетании с изуверскими вехами в их истории это приобретает зловещую окраску. «Госпожа Метелица», упомянутый «Карлик Нос», «Горшок каши»... все они сводятся к труду и смирению, а в награду получишь выстраданную полную чашу, иногда – как в случае с «Горшком» – чересчур полную. Получишь. Может быть. А может, и свихнешься, и станешь проповедовать верхом на ящике из-под пива посреди Вены, как ублюдок, начавший Вторую мировую. С одной стороны, идеи германских сказок полезны. С другой стороны, не для всех. Только для детей с устойчивой психикой. По-моему, их все меньше и меньше. Вот у французов – полный хаос сознания и совершенно немотивированный бред. Одна Красная Шапочка чего стоит, а также Спящие красавицы, Ослиные Шкуры и волшебные тыквы. Причинно-следственные связи отсутствуют, итог сопровождается нездоровой эйфорией. А касательно подсознания – страшно и подумать! Взять Золушку. Меня всегда настораживала ее нечеловечески крошечная туфелька. К

несчастьем, обувь – старинный эротический символ, означающий женский половой орган. Налицо намек на гинекологическую патологию под названием «детская матка». Если принц – тоже, надо заметить, с признаками вырождения в облике – из всего королевства выбирает именно эту девушку, то монархии конец. «Детская матка» редко умеет рожать, посему, я думаю, старик Перро вкрадчиво накликал французскую революцию. Такие они, французы, все у них через одно место, только не через то, что у нас, через соседнее.

В общем, со сказками осторожнее. Вскользь, не акцентируя... И поближе к скандинавам: борьба со стихией укрепляет им орган радости, порождаемые коим милейшие фантазмы в виде Карлсона, Нильса и Муми-троллей смягчают мир. Английская Мэри Поппинс тоже сойдет. Что касается прочих континентов, то все хорошо, что в меру...

Только одна полоумная добрячка Настю оправдывала. Говорит мне про нее: «Бедная, бедная, ей бы скорее девочку родить, именно девочку, потому что она отнимает у матери острие. Мальчик берет у отца, девочка – у матери, так должно быть...» Ну и бредни! Что за острие еще?! Чокнулись все на фаллофатализме – вершина, острие. Добрячка отвечает:

– Не бредни. Острие – это связь с Высшим миром. Острие – на макушке. У кого работает, у кого нет, кому бывает и вовсе не нужно. Без острия творить невозможно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.